**Приложение 3**

**Ф.М. Достоевский.** БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

**КНИГА ШЕСТАЯ. Русский инок**

**II. Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым.** Сведения биографические

*а) О юноше брате старца Зосимы*

Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии северной, в городе В., от родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь два года от роду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, не великий, но достаточный, чтобы прожить с детьми не нуждаясь. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на восемь, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, не насмешливый и странно как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился, так по крайней мере запомнила о нем матушка: За полгода до кончины своей, когда уже минуло ему семнадцать лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный немалый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался великий пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется: «Всё это бредни, говорит, и нет никакого и бога», — так что в ужас привел и мать и прислугу, да и меня малого, ибо хотя был я и девяти лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, четверо человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. Еще помню, как из сих четверых продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за шестьдесят рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на шестой неделе поста стало вдруг брату хуже, а был он и всегда нездоровый, грудной, сложения слабого и наклонный к чахотке; роста же немалого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он, что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностию (более для того, чтобы не испугать его), чтобы поговел и причастился святых божиих таин, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав, рассердился и выбранил храм божий, однако задумался: догадался сразу, что болен опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем, и сам уже знал, что давно нездоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: «Не жилец я на свете меж вами, может, и года не проживу», и вот словно и напророчил. Прошло дня три, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. «Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтоб обрадовать вас и успокоить», — сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя: «Знать, близка кончина его, коли такая в нем вдруг перемена». Но недолго походил он в церковь, слег, так что исповедовали и причастили его уже лома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а наутро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно — такая дивная началась в нем вдруг перемена! Войдет к нему в комнату старая нянька: «Позволь, голубчик, я и у тебя лампадку зажгу пред образом». А он прежде не допускал, задувал даже. «Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде. Ты богу, лампадку зажигая, молишься, а я, на тебя радуясь, молюсь. Значит, одному богу и молимся». Странными казались нам эти слова, а мать уйдет к себе и всё плачет, только к нему входя обтирала глаза и принимала веселый вид. «Матушка, не плачь, голубушка, — говорит, бывало, — много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то, жизнь-то веселая, радостная!» — «Ах, милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет». — «Мама, — отвечает ей, — не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил; умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые: «Милые, говорит, дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде не знал, не ценил». Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить». Матушка, слушая, качала головой: «Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь». — «Мама, радость моя, говорит, нельзя, чтобы не было господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается: «Ну и чем это ты, говорит, пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?» — «Матушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда?» Так он вставал со сна, каждый день всё больше и больше умиляясь и радуясь и весь трепеща любовью. Приедет, бывало, доктор — старик немец Эйзеншмидт ездил: «Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете?» — шутит, бывало, с ним. «Не то что день, и много дней проживете, — ответит, бывало, доктор, — и месяцы, и годы еще проживете». — «Да чего годы, чего месяцы! — воскликнет, бывало, — что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы всё счастие узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять». — «Не жилец он на свете, ваш сын, — промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца, — он от болезни впадает в помешательство». Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения: «Птички божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил». Этого уж никто тогда у нас не мог понять, а он от радости плачет: «Да, говорит, была такая божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один всё обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе». — «Уж много ты на себя грехов берешь», — плачет, бывало, матушка. «Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?»

И много еще было, чего и не припомнить и не вписать. Помню, однажды вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно; ничего не сказал, только поглядел так с минуту: «Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!» Вышел я тогда и пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня всё это тогда, но не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но на сердце осталось всё неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было всё восстать и откликнуться. Так оно и случилось. …

*в) Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок*

В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти восемь лет, и с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, а служивших нам в корпусе солдат считали мы все как за совершенных скотов, и я тоже. Я-то, может быть, больше всех, ибо изо всех товарищей был на всё восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть, а узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; все эти молодые люди были хорошие, да вели-то себя скверно, а пуще всех я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие, со всем юным стремлением, без удержу, поплыл на всех парусах. Но вот что дивно: читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием; Библию же одну никогда почти в то время не развертывал, но никогда и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой: воистину берег эту книгу, сам того не ведая, «на день и час, на месяц и год». Прослужив этак года четыре, очутился я наконец в городе К., где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и богатое, принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого, да к тому же и слыл не за бедного, что в свете значит немало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной и достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богатство, влияние и силу, меня принимали ласково и радушно. И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно, — разгорелось мое сердце при таковой мечте. Потом уж сам постиг и вполне догадался, что, может быть, вовсе я ее и не любил с такою силой, а только чтил ее ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Себялюбие, однако же, помешало мне сделать предложение руки в то время: тяжело и страшно показалось расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни в таких юных летах, имея вдобавок и деньги. Намеки, однако ж, я сделал. Во всяком случае, отложил на малое время всякий решительный шаг. А тут вдруг случись командировка в другой уезд на два месяца. Возвращаюсь я через два месяца и вдруг узнаю, что девица уже замужем, за богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня годами, но еще молодым, имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел, человеком весьма любезным и сверх того образованным, а уж образования-то я не имел вовсе. Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело: как же это, все почти знали, а я один ничего не знал? И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую. С краской в лице начал вспоминать, как много раз почти высказывал ей любовь мою, а так как она меня не останавливала и не предупредила, то, стало быть, вывел я, надо мною смеялась. Потом, конечно, сообразил и припомнил, что нисколько она не смеялась, сама же, напротив, разговоры такие шутливо прерывала и зачинала на место их другие, — но тогда сообразить этого я не смог и запылал отомщением. Вспоминаю с удивлением, что отомщение сие и гнев мой были мне самому до крайности тяжелы и противны, потому что, имея характер легкий, не мог подолгу ни на кого сердиться, а потому как бы сам искусственно разжигал себя и стал наконец безобразен и нелеп. Выждал я время и раз в большом обществе удалось мне вдруг «соперника» моего оскорбить будто бы из-за самой посторонней причины, подсмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии — в двадцать шестом году дело было — и подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение и уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был я и моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой как бы тоже из ревнивого ко мне чувства: ревновал он меня и прежде, немножко, к жене своей, еще тогда невесте; теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенес, а вызвать на поединок не решился, то чтобы не стала она невольно презирать его и не поколебалась любовь ее. Секунданта я достал скоро, товарища, нашего же полка поручика. Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными — до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки. Был в исходе июнь, и вот встреча наша назавтра, за городом, в семь часов утра — и воистину случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такою зверскою жестокостью. И верите ли, милые, сорок лет тому минуло времени, а припоминаю и теперь о том со стыдом и мукой. Лег я спать, заснул часа три, встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил — отпиралось у меня в сад, — вижу, восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое? Не оттого ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не оттого. Не оттого ли, что смерти боюсь, боюсь быть убитым? Нет, совсем не то, совсем даже не то... И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело: в том, что я с вечера избил Афанасия! Всё мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось: стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет — и это человек до того доведен, и это человек бьет человека! Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то, птички-то бога хвалят... Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, за что меня любите, да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» — «Да, стою ли», — вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. «Матушка, кровинушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали — сейчас был бы рай!» «Господи, да неужто же и это неправда, — плачу я и думаю, — воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей!» И представилась мне вдруг вся правда, во всем просвещении своем: что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем предо мной не повинного, а супругу его тем навеки счастья лишу, измучаю и убью. Лежал я так на постели ничком, лицом в подушку и не заметил вовсе как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ, поручик, за мной, с пистолетами: «А, говорит, вот это хорошо, что ты уже встал, пора, идем». Заметался я тут, совсем потерялся, вышли мы, однако же, садиться в коляску: «Погоди здесь время, — говорю ему, — я в один миг сбегаю, кошелек забыл». И вбежал один в квартиру обратно, прямо в каморку к Афанасию: «Афанасий, говорю, я вчера тебя ударил два раза по лицу, прости ты меня», — говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался, глядит — и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так, как был, в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли: «Прости меня!» — говорю. Тут уж он и совсем обомлел: «Ваше благородие, батюшка барин, да как вы... да стою ли я...» — и заплакал вдруг сам, точно как давеча я, ладонями обеими закрыл лицо, повернулся к окну и весь от слез так и затрясся, я же выбежал к товарищу, влетел в коляску, «вези» кричу. «Видал, — кричу ему, — победителя — вот он пред тобою!» Восторг во мне такой, смеюсь, всю дорогу говорю, говорю, не помню уж, что и говорил. Смотрит он на меня: «Ну, брат, молодец же ты, вижу, что поддержишь мундир». Так приехали мы на место, а они уже там, нас ожидают. Расставили нас, в двенадцати шагах друг от друга, ему первый выстрел — стою я пред ним веселый, прямо лицом к лицу, глазом не смигну, любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапало мне щеку да за ухо задело. «Слава богу, кричу, не убили человека!» — да свой-то пистолет схватил, оборотился назад, да швырком, вверх, в лес и пустил: «Туда, кричу, тебе и дорога!» Оборотился к противнику: «Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в десять крат, а пожалуй, еще и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете». Только что я это проговорил, так все трое они и закричали: «Помилуйте, — говорит мой противник, рассердился даже, — если вы не хотели драться, к чему же беспокоили?» — «Вчера, — говорю ему, — еще глуп был, а сегодня поумнел», — весело так ему отвечаю. «Верю про вчерашнее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнению». — «Браво, — кричу ему, в ладоши захлопал, — я с вами и в этом согласен, заслужил!» — «Будете ли, милостивый государь, стрелять, или нет?» — «Не буду, говорю, а вы, если хотите, стреляйте еще раз, только лучше бы вам не стрелять». Кричат и секунданты, особенно мой: «Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить; если бы только я это знал!» Стал я тут пред ними пред всеми и уже не смеюсь: «Господа мои, говорю, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично?» — «Да не на барьере же», — кричит мой секундант опять. «То-то вот и есть, — отвечаю им, — это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться, только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех, но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолета испугался и нечего его слушать. Господа, — воскликнул я вдруг от всего сердца, — посмотрите кругом на дары божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем...» Хотел я и еще продолжать, да не смог, дух даже у меня захватило, сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. «Благоразумно всё это и благочестиво, — говорит мне противник, — и во всяком случае человек вы оригинальный». — «Смейтесь, — смеюсь и я ему, — а потом сами похвалите». — «Да я готов и теперь, говорит, похвалить, извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек». — «Нет, говорю, сейчас не надо, а потом, когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протяните — хорошо сделаете». Воротились мы домой, секундант мой всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас же товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день: «мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает». Явились и защитники: «Выстрел всё же, говорят, он выдержал». — «Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения». — «А кабы побоялся выстрелов, — возражают защитники, — так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить, а он в лес его еще заряженный бросил, нет, тут что-то другое вышло, оригинальное». Слушаю я, весело мне на них глядя. «Любезнейшие мои, — говорю я, — друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, потому что это я уже и сделал, я уже подал, сегодня же в канцелярии, утром, и когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю». Как только я это сказал, расхохотались все до единого: «Да ты б с самого начала уведомил, ну теперь всё и объясняется, монаха судить нельзя», — смеются, не унимаются, да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело, полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители, и потом весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят: «Ах ты, монах», — говорят. И всякий-то мне ласковое слово скажет, отговаривать начали, жалеть даже: «Что ты над собой делаешь?» — «Нет, говорят, он у нас храбрый, он выстрел выдержал и из своего пистолета выстрелить мог, а это ему сон накануне приснился, чтоб он в монахи пошел, вот он отчего». Точно то же почти произошло и в городском обществе. Прежде особенно-то и не примечали меня, а только принимали с радушием, а теперь вдруг все наперерыв узнали и стали звать к себе: сами смеются надо мной, а меня же любят. Замечу тут, что хотя о поединке нашем все вслух тогда говорили, но начальство это дело закрыло, ибо противник мой был генералу нашему близким родственником, а так как дело обошлось без крови, а как бы в шутку, да и я, наконец, в отставку подал, то и повернули действительно в шутку. И стал я тогда вслух и безбоязненно говорить, несмотря на их смех, потому что всё же был смех не злобный, а добрый. Происходили же все эти разговоры больше по вечерам в дамском обществе, женщины больше тогда полюбили меня слушать и мужчин заставляли. «Да как же это можно, чтоб я за всех виноват был, — смеется мне всякий в глаза, — ну разве я могу быть за вас, например, виноват?» — «Да где, — отвечаю им, — вам это и познать, когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел и когда сущую ложь за правду считаем да и от других такой же лжи требуем. Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно, и что же, стал для всех вас точно юродивый: хоть и полюбили меня, а всё же надо мной, говорю, смеетесь». — «Да как вас такого не любить?» — смеется мне вслух хозяйка, а собрание у ней было многолюдное. Вдруг, смотрю, подымается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил, а я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку: «Позвольте мне, говорит, изъяснить вам, что я первая не смеюсь над вами, а, напротив, со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш». Подошел тут и муж ее, а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне так стало…